**«РОССИЯ ВСЕМ НАМ СЕЙЧАС И ДОМ, И ДАЛЬ...»**

**140 лет со дня рождения Ф.А. Степуна**

Федор Августович Степун (1884–1965) – философ, социолог, историк, общественно-политический деятель, писатель. Его отец – выходец из Восточной Пруссии, главный директор писчебумажных фабрик, мать – из шведо-финского рода Аргеландеров, попечительница народной школы. Он получил домашнее образование, окончил частное реальное училище в Москве. Мучительные колебания между университетом, Училищем живописи и ваяния и сценой неожиданно привели его к решению отбыть воинскую повинность. Военную службу проходил на лагерных сборах в 1901, 1904 и 1911 годах. Получил чин артиллерийского прапорщика. Служба помогла сделать выбор: идти в университет, чтобы понять «мир и его законы, жизнь и ее смысл».

В 1902–1907 годах в Гейдельбергском университете (куда был принят в порядке исключения на философский факультет с аттестатом реального училища) изучал философию, политэкономию, право, теорию и историю искусств. В 1910-м защитил докторскую диссертацию: «Философия Владимира Соловьева». Участвовал в издании философского журнала «Логос».

О тогдашних своих намерениях писал: «Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях», мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое… рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество». Ощущая убыль религиозной мысли на Западе, но преувеличивая религиозность русской народной души, представители его «не могли не рассматривать наших замыслов как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западнического рационализма»».

Накануне «злосчастной войны» 1914 года Степун, не имея возможности сделать тогда университетскую карьеру, становится членом «Бюро провинциальных лекторов» и включается в столь быстро и бурно растущую в России общественную жизнь.

Читающая и думающая провинция показалась ему «не только не более отсталой, чем передовая столичная интеллигенция, но в известном смысле и здоровее ее». Она тянулась к хорошей, солидной книге и научно-популярной лекции. По его опыту, небольшие, хорошо построенные курсы: «Введение в философию», «История греческой философии», «Россия и Европа как проблема русской философии истории», «Основные проблемы эстетики Возрождения» имели в Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах скорее больший успех, чем отдельные миросозерцательные, остро-публицистические лекции.

Многочисленные поездки с лекциями по России стали для Степуна источником познания народа и страны и существенно изменили его восприятие России. В воспоминаниях он отдаёт дань вагонной жизни в русских поездах, где сразу же заводилась по-домашнему уютная жизнь. Семейные ездили со своими чайниками, одиночкам приносил чай истопник, у которого самовар у вагонной топки кипел круглые сутки. Вагонное чаепитие с обильными закусками и бесконечными разговорами могло длиться часами. Проникся к этому душевно и записал: было что-то в русских поездах, что, «изымая души из обыденной жизни, бросало их “в пустынные просторы, в тоску и даль неизжитой мечты”». Эта вековечная дума отличала русских от западных европейцев «среднего калибра», которые «легко и безболезненно» отказывались «от омутов и поднебесий жизни ради внешнего преуспевания в ней». Они – «со своими короткими межстанционными перегонами, с непрерывностью человеческого жилья и труда за окнами – не могли пребывать в таком «отлётно-романтическом настроении».

Одно из его объяснений этого ментального различия заключалось в эстетике пейзажа: душа всякого народа похожа на душу своего пейзажа и своей земли. У Европы – «бесконечное обилие разнообразных природных форм, стесненных скупо отмеренными… пространствами». У России – подлинные просторы, «залитые разливами лесов, полей, болот и рек». Среднерусский пейзаж «не ослепляет» взора. «Красота русской природы – невидимая красота: она вся в чувстве легко и неустанно размыкающихся и расступающихся горизонтов. Она не столько красота на горизонте, сколько красота за горизонтом».

Уже в эмиграции, в Германии в 1937 году, отстраненный нацистами от преподавания в Дрезденском университете, Степун начал свои мемуары с автобиографических сведений и стал вспоминать родные калужские места (он родился в Кондрове). И обнаружил, что в отличие от современных европейцев, живёт у русских благодаря «глубокой связанности с землей» особое чувство природы, «то утонченное осязание ее одухотворенной плоти, ее космической души», которое отличает и русское искусство. Потому что русская дореволюционная деревня была «всецело природной: жилье – бревно да солома, заборы – слеги да хворост, одежда – лен да овчина, дороги, за исключением редких шоссе, не проложены, а наезжены». «А за этим, цивилизацией еще не разбуженным миром… тот русский народ, на котором держалась наша единственная по вольности своего дыхания, во многом, конечно, грешная, но все же прекрасная жизнь», – с тоской отозвался он о Родине, из которой был выслан в 1922 году.

Часто читая лекции в Нижнем Новгороде, он перезнакомился со всеми интересными людьми из своих слушателей. Как всюду, так и в Нижнем русская интеллигенция жила тесными идеологическими кланами. Отношение между кланами носило своеобразно-мистический характер нераздельности, но и неслиянности. Основною формою этого общения был нескончаемый идейный спор. Сторонница марксизма врач Бродская, по словам Степуна, старалась «скомпрометировать мое “левизною приправленное, реакционно-славянофильское миросозерцание” в глазах передового нижегородского общества». Совсем иначе отнеслись к лектору в народнических кругах, где еще жили воспоминаниями об эпохе Короленко и недолюбливали Горького.

Здесь его ждал к себе председатель нижегородской Секции гигиены, воспитания и образования доктор Грацианов, который развил секцию чуть ли не в народный университет для утоления «духовного голода рвущейся к свету провинции».

В Нижнем он пришелся ко двору: быстро создалась большая и верная аудитория, которую отличала социологическая и психологическая пестрота. На все его лекции до конца ходили народники, марксисты, представители свободных профессий, сормовские рабочие, весьма пожилые люди и учащаяся молодежь. Всё это сопровождалось разгулом хлебосолья. В противоположность Германии, которая нарядно живет, но скромно питается, в России и в убогой обстановке ели талантливо. Волга с ее рыбными богатствами особенно способствовала этому. Так, молодой учитель Мишенькин пригласил лектора на дачу к обеду. Приняли просто и радушно, накормили янтарною ухой и крупною душистою клубникой. После обеда пили чай с вкуснейшим сладким пирогом, душевно разговаривали. Потом гуляли над Волгою, дышали необъятными земными и небесными далями, под вечер на крылечке любовались закатом, жгли костры от комаров и уже по-настоящему беседовали о христианстве и просвещенстве, о России и революции, о Москве и провинции, об учительском призвании и о трудностях провинциального учительствования. Уехал тогда очень поздно, с последним пароходом, в радостном ощущении от знакомства с «настоящими людьми, интеллигентами новой формации, которые и Бога не отрицают, и культуру любят, и социальной справедливости жаждут».

В Астрахани читал две лекции: о славянофилах и о божественном Платоне. Публика оправдала его надежды. В ней не было социально-политической напряженности, интеллигентского нерва, характерных для борьбы короленковцев и горьковцев, что определяли психологию нижегородской аудитории, хотя все же в ней чувствовалась живая тяга полуазиатской провинции к далекой Москве с ее концертами, театрами. В Казани читал в университетской аудитории: в первом ряду сидели профессора, было много студентов и курсисток – уровень аудитории был выше, чем в Нижнем. А он не учел того, что Казань университетский город и надо было читать глубже и строже, чем в других городах Поволжья. После Казани в нём снова усилилась мечта об университетской карьере.

Считал, что был, видимо, единственным московским лектором, который читал в Туркестане, где тогда в Коканде работал его отец. В Коканде читал «О драмах Леонида Андреева» и «О смысле жизни». Там почувствовал, до чего необъятна Россия, разнообразна и живописна   
и до чего её мало знаем. За это время его зачарованность «какой-то своей, почвенной экзотикой России еще усилилась». Потом три месяца на Кавказе, который произвёл на него гораздо большее впечатление своей первозданностью, чем Швейцария. В результате появилось новое ощущение России: её имперское великодержавие.

И вот началась война. Ф. А. Степун – этот «русский европеец» (по словам его друга Л. Зандера), философ, теперь в качестве прапорщика оказался в Сибири в конце лета – начале осени 1914 года в связи с формированием 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, в пятую батарею которой он был зачислен. Он вспоминал об этом: «То, что я по каким-то неизвестным мне мобилизационно-политическим соображениям попал в иркутскую бригаду, представляется мне одной из больших удач моей жизни. И товарищей, за двумя, тремя исключениями, и солдат я до сих пор вспоминаю с любовью и благодарностью». Более того, в цепи его биографических событий поездку в Сибирь он относил к наиважнейшим: «Я знаю, перед смертью от всей суеты жизни останутся только несколько “вечных” минут. Среди них и тот, печально-прозрачный утренний час, которым мы в тихой глубокой беседе в последний раз перед сломом старого мира мирно ехали в Москву… в Иркутск… на войну… в эмиграцию» Десять дней он с женой Натальей, которая провожала его на войну, добирались из Москвы в Иркутск. В канун войны, с публичными лекциями изъездив города Поволжья и добравшись до Коканда, Степун понял и политический, и метафизический смысл протяжённости страны: «Лишь набравшись воздуха наших экзотических окраин, я реально восчувствовал имперскую великодержавность России, которая до тех пор была для меня пустым звуком в громком титуле государя императора. Как это важно воочию увидеть: все не виданное своими глазами неизбежно остается и недопознанным для нашего ума… Какое счастье дышать такими далями. –   
“Мы русские – какой восторг” (Суворов) – но и какой соблазн!»[[1]](#footnote-1) Движение на Восток раздвинуло его горизонты восприятия родины: «Кто не дышал воздухом Сибири, тот никогда глубоко не дышал Россией. За шесть недель нашего пребывания в Иркутске я так крепко привязался к невзрачной прибайкальской столице русской Азии, что и, не разделяя идеологии евразийцев, чувствую себя чем-то связанным с ними: само слово Евразия будит во мне какие-то надежды и страсти. В Иркутске я понял, до чего эфемерна уральская граница между Европой и Азией. Ведь только бескрайние сибирские дали могут сдержать те обещания, что нам дает восточная Европа, точнее европейская Россия». Именно тогда, в Иркутске, философ признался, что «задолго до евразийства» понял и почувствовал неправоту Канта и германскую тщету: «Живи он не в Кенигсберге, а в Сибири, он, наверное, понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично. На Байкале он, вероятно, написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства. Эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал…»[[2]](#footnote-2)

Тогда с женой в пустом товарном вагоне добрались они до «священного» Байкала. В письме к матери от 14 сентября он написал:   
«А мир был так прекрасен в понедельник девятого сентября». И живописно рисовал дорогу вдоль Ангары со светло-зелёными лиственницами, тёмно-зелёными соснами, желтеющими «грациозными» берёзами и красно-малиновым кустарником; вода в реке, то тёмно-синяя, то бледно-зелёная, прозрачная до дна. С приближением к Байкалу потянуло морскою бодрящею свежестью. Когда поднялись на гору, увидели: море и снежные горы, речную долину в лесистых холмах, над головой бесконечное синее небо, на земле – игрушечный вокзал.

Там он убедился, как сильно Сибирь «захватывает и покоряет людей», приводя в пример иркутскую квартирную хозяйку. Полька, вдова политического ссыльного поляка, поклялась умирающему мужу вернуться на родину, чтобы там воспитать детей. С трудом добившись разрешения, уехала в Варшаву, «полная радости и надежды». Но вскоре «затосковала по царственным сибирским просторам и их беспредельной свободе» и через год вернулась в Иркутск, испросив у ксендза разрешение нарушить данную мужу клятву.

Он сам потом не раз открывал девятый том немецкого энциклопедического словаря Брокгауза 1928 года, где к статье «Иркутск» была приложена картинка: типичная провинциальная улица русского Севера, непросыхающая лужа, вдали церковь. Среди бревенчатых двухэтажных домов, соединенных высокими воротами, нашёл одноэтажный домик, в котором он с женою и товарищем по бригаде жили в Иркутске перед выступлением на фронт. С лупой в руках он подолгу рассматривал «столь знакомую глазу и милую сердцу улицу», по которой дважды в день ездил верхом на занятия в пятую батарею 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Бригада была второочередная и только еще формировалась. Ежедневно поступали новобранцы и пригонялись лошади. Ему было поручено проводить с ними занятия по верховой езде. В том же письме жаловался на ужасную дорогу: «бесконечные дожди и глинистая почва». Но был горд собой: «офицер я приличный, все больше вхожу в службу, отношусь ко всему, не в пример лагерному сбору, серьезно и внимательно и стараюсь вполне приготовить себя к той тяжелой и ответственной роли, которая может в наши дни выпасть каждому из нас на долю». Готовил к этому и своих сибиряков-батарейцев, узнавая их представления о войне. Его поражали их «совершенно детские», но «серьёзно и глубоко поставленные вопросы»: «что это немец нам войну объявил», «а далеко ли до немца ехать», «крещеный ли немец народ или как турки, нехристи», «может быть, ...жить им тесно», «нельзя ли от них откупиться?» Хорошо помнил своего вестового, сорокалетнего рыжего бородача Злобина, скучавшего по своему дому, семье и силившегося понять: «с чего это вдруг стряслась война, и за какие грехи он из своей честной жизни попал на каторгу». Злобину особенно нравилась вероятность – откупиться: «если бы немцу, примерно, треть того отдать, во что война обойдется, то, быть может, он бы и угомонился и государю-императору не надо было бы зря народ калечить».

Испытывая глубокий стыд за «трафаретные ответы», которые давал «по долгу службы» своим сибирякам, он сумел составить мнение об их взглядах на войну – войну «правильную» – что-то «вроде крестового похода», предполагая, что такой взгляд мог сложиться под влиянием церковной молитвы о «благоверном императоре» и «христолюбивом воинстве», и также солдатских песен о турецких походах. С солдатским представлением о «враге-нехристе» он связывал еще и представление о нем как об «обидчике, то есть нападчике». Узнав из беседы с ним,   
что немцы – христиане, а больше трети из них католики, совершенно сбились с толку, ибо это не вязалось с их взглядами о враге – турке и японце. А у него сложилось мнение, что у батарейцев-сибиряков не было никакого представления о России «как об империи и о геополитических законах ее исторического бытия». Приходилось выступать против их «узко-туземной точки зрения»: «зачем три недели на поезде немцу навстречу ехать?» – «Пусть к нам пожалует... тогда дома-то мы его во-как разделаем». Это не мешало ему признать сибирских крестьян патриотами. «Свою Россию они любили и, главное, крепко верили в ее мощь, но их своеобразный крестьянский патриотизм носил скорее хозяйственный, чем государственный характер». Вот и в Карпатах потом, на полях сражений, выявилось то же – общесолдатское мнение: «Да зачем нам, ваше благородие, эту Галицию завоевывать, когда ее пахать неудобно». Отмечая «гражданскую неподготовленность к войне», он осознавал, что бригада «воевала на славу». Эти наблюдения потом навели на размышления о будущем мироощущении советского бойца, чтобы заключить: «не думаю, что оно будет очень отличным от того, под знаком которого воевали наши сибирские части. Солдатская вера как была, так и будет все той же: царь приказал, Бог попустил, податься некуда, а впрочем, на миру и смерть красна». Ф.А. Степун допускал: «Миросозерцательное содержание старой формулы от этого, конечно, изменится, но ее эмоциональным корнем останется всё то же чувство: чувство зависимости человеческой жизни от высших сил, чувство невозможности сопротивляться и добровольная готовность соборного подчинения им до самой смерти. Там, где это чувство в народе исчезает, в конце концов, исчезает и солдатская доблесть. Мне кажется, что окончательная утрата французским народом, отчасти в связи с гарантиями Версальского договора, трагического ощущения жизни и ее неизничтожимых опасностей, является главною причиною непостижимого разгрома французской армии в 1940 году».

Война изменила его отношение к мужику. Если простой народ в родительском доме ощущался «скорее частью деревенского пейзажа, чем расширением человеческой семьи», то близкое общение с солдатами определило «не только деградирующий, но странным образом и возвышающий смысл этого “барского” отношения к “мужику”». Он пояснял это так: «Переходя из офицерской землянки в солдатские, я всегда чувствовал, что не только спускаюсь в мир необразованности, но одновременно и поднимаюсь на какую-то высоту. Очень далекий по своему воспитанию как от право-славянофильского, так и от лево-интеллигентского народничества, я на войне все же пришел к убеждению, что “варварство” русского мужика много ближе к подлинным высотам культуры, чем средне интеллигентская образованность».

Созвучны этому суждению были его наблюдения о первой встрече с врагом, когда по пути на фронт на какой-то большой доуральской станции, сибиряки столкнулись с военнопленными австрийцами. Буфет первого и второго классов, где они собирались повкуснее пообедать, оказался забит «голубыми австрийскими офицерами» так, что прибывшим – не пробиться. И на платформе пленные с жадностью скупали провиант у баб и подростков, особенно жареных кур и огромные бисквитные торты, которые специально пеклись для пленных, не любивших черный хлеб. Австрийцы платили за недоступную русскому солдату курицу 30–40 копеек. Но никому из русских военных и в голову не пришло «попросить австрийцев очистить нам место и потребовать от буфетчика, чтобы в первую очередь кормили своих». Допуская какие угодно жестокости, Степун настаивал на одном: «русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя», а «в здравом разуме, он в общем совестлив и мягок». Выявлял отличия: «В России жестокость – страсть и распущенность, но не принцип и не порядок. Иначе у немцев: быть может, немецкие офицеры… и жестоки не более нас, все же они по разумной принципиальности никогда не потерпели бы, чтобы им у себя, в Германии, не хватило бы места и еды, потому что все места заняты врагами».

Время галицийского похода 1914–1915 годов Степун вспоминал как самое светлое, несмотря на все неполадки в снабжении и руководстве, потому что дух армии был «так крепок и светел», каким он никогда не был. При этом он различал настроения солдат и офицеров. Недостаточно объяснить этот дух «победоносностью нашего наступления», так как для солдат продвижение вперед не играло большой роли. «Говоря о войне, наши сибиряки всегда говорили о бое, об его удали и его озлоблении, или о бабе (справится ли она с хозяйством, не забалует ли), или о Боге, т. е. о грехе войны. Вопрос же о том, добудем ли мы Галицию, которую неудобно пахать, их мало интересовал. Потому их настроение оставалось все тем же, как при наступлении, так и при отступлении». Другое дело – «приподнятое настроение» у офицеров, которое он объяснял «не столько легкими победами над австрийцами», сколько «вдохновением первого боевого крещения» в Рождество 1914 го-  
да в Ростаках. Степун пишет об этом с упоением: «Охватывая душой и глазом всех этих вверенных мне людей, я испытывал новую, выросшую за ночь связь с ними, новую любовь к ним, своим батарейцам, и ответственность за них. Слыша в своей совести их немой вопрос мне: не выдам ли я их, не растеряюсь ли, я твердо, без слов, но всем своим существом отвечал им: “не выдам, справимся”». «Сообщилась ли моя веселость солдатам, или, поднявшись в их душах, она перелилась в мою, я сказать не могу. Знаю только, что первый бой остался у меня в памяти одною из самых звонких, веселых и возвышенных минут моей жизни». Скача после начала боя по обстреливаемому неприятелем шоссе к себе на батарею и обратно к своему взводу, он «кипел тем же неописуемым восторгом, в котором сто лет тому назад несся в свою первую атаку юный Петя Ростов». Это был, по его мнению, «древний восторг боя, в котором кровь ревет, как река в половодье, душа слышит нездешнюю песнь, а сердце блаженно замирает в кольце предсмертного холода, наполняет нас не ненавистью к врагу, не жаждою победы и даже не любовью к родине, а чем-то возносящим нас над жизнью и смертью». Он получил прозвище «геройского барина», хотя, как сам признавался: «“Геройство” мое всегда выражалось лишь в пассивной храбрости, в умении веселостью ободрить солдат в опасную минуту и помочь скоротать им тревожные часы ожидания боя». При этом считал себя офицером «весьма посредственным». Когда был начальником разведки, то руководствовался «больше глазомером, сметкой и доверием к охотничьим инстинктам» солдат-сибиряков. Сам вынес заключение: «Строго и очень серьезно я относился только к духовно-нравственным и педагогическим задачам офицера; в сфере же своих профессионально-технических обязанностей я дилетантствовал и сибаритствовал так, как это было возможно, вероятно, только в царской армии».

Но как ни поднимал он офицерскую роль, сам «в качестве философа, то есть человека лишь раненного вечностью, но не спасенного   
в ней», все больше тяготел к «батарейному “старцу”» Шестакову, который «просто и твердо верит в своего православного Бога». Шестаков был «глубоко набожным сорокалетним “стариком”», который Великим постом «питался исключительно хлебом и водою, не теряя от этого ни бодрости, ни сил, ни светлого настроения». Замечал: «что-то шестаковское было почти во всех солдатах», объясняя тем, что, «проходя трудною полосою своей жизни, они все невольно уходили в глубину древней веры своих отцов и дедов», что «этою верою искони держится и своеобразно-пассивный народный патриотизм: Бог не выдаст – свинья не съест. Вера же в то, что Бог Россию не выдаст, была в крестьянской, а потому и в солдатской России всегда тверда». Этой верою объяснялась для него и «непостижимая небрежность» сибиряков к своим обязанностям. Все они неохотно окапывались на позиции и поясняли: «Нам, ваше благородие, не к чему. Австрияк оттого и бежит, что хорошие окопы любит, из хороших окопов кому охота в атаку подыматься, а мы из наших завсегда готовы». «Толстовски народное чувство, что война идет своим собственным “верхним ходом” и не очень зависит от отдельных решений и распоряжений», по признанию мыслителя, было и в нём самом «подчас очень сильно». «Наивным» окопным беседам, был «очень многим обязан», отсюда – убеждение: «досадная бессодержательность большинства современных философских книг» идёт от игнорирования растущих «на жизненном корню» важных истин.

Попав в лазарет, он писал на свою батарею: «сколь бесконечно ценными кажутся мне отсюда месяцы, проведенные на фронте. Как первая любовь, вспоминаются первые осенние бои. Любовь и войну роднят ошеломляющая необычайность как той, так и другой и непосредственное отношение обеих к последней тайне жизни, к смерти. Как бы страшна ни казалась нам смерть, диалоги, что от ее имени ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться “к песням небес”».

Как не согласуется это пафосное философское рассуждение с состоянием ужаса, в которое повергло его самое начало войны, о чём он писал матери в сентябре 1914 года. Наряду с ужасом «материального плана», более всего страшила невероятная ложь беспамятства, когда предают «проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением» каждой враждующей стороны. В России – «неблагодарное забвение того, что сделала германская мысль в построении русской культуры. Бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград».   
В Германии, «стране философии и музыки, еще того хуже, еще того преступнее и позорнее»: выступают против переводов на немецкий язык величайших произведений враждующих сторон. Но более чем вся эта ложь, его смущала и мучила «та *тень правды*, которая ныне, очевидно, лежит на всей этой лжи». Правда состояла в том, что «вражда к врагу рождает громадную любовь к своему народу, к своей родине», состояла в преодолении «косности, своекорыстия и эгоизма, о котором в мирное время даже и подумать было невозможно», в героизме, с которым «переносят раны, смерть и безвестную пропажу своих дорогих и близких», «во всем настроении России, трезвой, сознательной и бескорыстной», в вечерней молитве солдат: «Спаси, Господи, люди Твоя», в цветах, которые несут отправляющимся на фронт, в белых лентах, которыми завязаны эти цветы, в надписях на них: «Спаси вас Господь».

Война, военное братство влияли на мироощущение. Степун чувствовал себя среди не видавших фронта писателей, философов, интеллигентов-политиков «глубоко одиноким и неприкаянным», их речи ощущались им «сплошной инфляцией, мозговою игрою, конструктивною фантазией, кипением небытия», что делало его «особенно недоверчивым ко всякому мироустроительному умствованию над творящимся в мире безумием». Он (как и солдаты) мечтал начать «новую, углублённую жизнь». Революция, пережитая им, заставила всмотреться в себя и если «не оправдала войны», то всё же как-то очистила» её в его памяти. Поражали свойства памяти, которая «помимо нашего сознания и нашей воли, неустанно передумывает нашу жизнь». Этим он объяснял, что нынешний образ войны далеко не во всем совпадал с ее зарисовками в письмах с фронта. Ныне «громкие слова не звучат в душе», даже «как-то стыдно» перечитывать их. «Теоретически я не переменил своих взглядов, но душою я за истекшие годы настолько отвернулся от них, что меня с каждою новою весною всё сильнее и сильнее тянет в галицийские окопы». И ещё одно признание: «Не полюбив на войне войны, я неожиданно для себя самого крепко привязался к армии, проникся ее воинским духом. Конечно, не все офицеры и нижние чины были по духу солдатами, но те из них, что ими подлинно были, были, быть может, лучшими людьми из всех, с которыми меня свела жизнь». Тем самым война укрепила его духовно. Потому, как бы не ужасна она была, он признавал её всё-таки человеческой – поскольку она обнаруживала совершенно новое качество в её участниках – боевое братство.

Наконец, война была одним из факторов, что кардинально изменили его ментальность. Хотя причин для этого превращения было немало, и об этом он высказался очень определённо: как из «близкокровного России полупруссака» превратился в «подлинно русского человека» – благодаря православию, русскому детству, службе в русской армии после технического училища, лекционным разъездам по стране, породившим «зачарованность образом России», братской близости с русским солдатом на войне, подростковой поэтической влюблённости в Лизу Калитину и Наташу Ростову, женитьбе на коренных русских женщинах, пятилетнему хозяйствованию на земле во время революции и Гражданской войны. Да и отца своего он не считал «пруссаком», так как по целому ряду черт его натуры – он был «скорее славянином, чем германцем» (как и пруссаки – наполовину славяне), к тому же любившего природу России «какой-то особою, языческой любовью».

Ф. Степун, однако, сознавал собственную биполярность: «Две любви бессмертны в душе человека»: «любовь к своей земле, к своему дому, к своему порогу – к своей родине» и «любовь к чужому небу, к вольной дали, к пути-дороге – к чужбине». «Сложная диалектика этих чувств бесконечно усложнена сейчас в душах русских людей! Обе любви слиты в нас в одну неделимую. Россия всем нам сейчас и дом, и даль, и порог, и дорога; мы чувствуем её и как родину на чужбине и как чужбину на родине, любим её потому новою, страстною, тоскующей любовью». И особо подчёркивал, что «Россия переполняет наши души той бесконечной тоской по себе, в свете которой идеи родины и патриотизма приобретают новый, религиозный смысл».

Ещё в 1916 году, находясь в лазарете, он писал: «из всех народов Европы наиболее близки друг другу Россия и Германия». Их сродство определено в «духовном облике» и в «жизненных судьбах» – «ценностями абсолютного религиозного порядка». А сходство между немецким   
романтизмом и славянофильством есть «выражение глубокого духовного сродства». Родство – вопреки противоположности: метафизики Германии и мистики России, различию фаз – Германия прошла «зенит своего духовного развития», а Россия – только к нему восходит. «Спасение Германии в России. Спасение России в Германии» – его заветное желание (в случае победы русского оружия). Тем более что «лучшие люди подлинной Германии» никогда не смогут ощутить ни Англию, ни Францию родными и близкими, ибо «полёт германского гения всегда был чужд духу этих “передовых демократий”». Его тревожило, что «энергичная промышленная Европа глубоко враждебна России» и не исключал, что к концу войны «все народы Европы – и наши союзники, и наши враги – чем-то своим “европейским” перекликнутся между собой» и встанут против несчастной России.

А находясь на чужбине, он считал главной задачей эмиграции (и своею) – сбережение для будущего «вечного облика России», для «духовной встречи старой русской культуры» с творческой жизнью на территории СССР.

1. *Степун Ф. А*. Бывшее и несбывшееся / Послесл. Ю.И. Архипова. – СПб.: Изд-во «Алетейя», Изд. группа «Прогресс» – «Литера», 1994. Т. I. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Степун Ф. А. (Н. Лугин).* Из писем прапорщика-артиллериста. – Томск: «Водолей», 2000. [↑](#footnote-ref-2)